ПИСЬМИРЬ

Словно в бычий пузырь, из автобусных окон глядишь,
от стекла оттирая давно поредевшую рощу,
где берёзами всласть напитавшись, молочная тишь
под корнями осин прячет кладбища грозные мощи.

Проезжаешь Письмирь — и становишься ближе к себе…
Через мост и холмы к полысевшему дому у речки
приникаешь лицом, подсмотрев как в былинной избе
мужичок обжигает в печи то горшки, то словечки.

Проезжаешь весьмир, а в глазах, как в подзорной трубе,
только узкая прорезь земли под бушующей высью:
вот распят электрический бог на подгнившем столбе,
вот сосна полыхает за полем макушкою лисьей.

Позади Мелекесс пух гусиный метёт в синеву,
он на спины налип — мы гогочем и машем руками…
Нас, поднявшихся в небо, наверно, потом назовут –
о-бла-ка-ми…

ЗВОНАРЬ

Я ещё до конца не изучен,
не испытан на прочность пока,
но как колокол бьётся в падучей —
я набатом сдираю бока

и плыву в этих отзвуках долгих,
наблюдая, как с гулом сердец
проступает над веною Волги
побелевший часовни рубец,

и в малиновом хрусте костяшек,
на ветру у свияжских лагун,
прозреваю я голос свой тяжкий,
но понять до конца не могу.

Бечеву до небес изнаждачив,
истрепав до полбуквы словарь,
захожусь в оглушительном плаче –
одиноко зовущий звонарь.

* * *

Иногда нужно вспомнить, что я человек
и конца на пути не миную,
а пока — для чего проживаю свой век,
что кладу я в копилку земную?

Голоса из глубинных предчувствий беря,
для чего отшлифовывал разум?
Для чего по сусекам всего словаря
выскребал я заветную фразу?

Эта ночь, как последняя в мире, тиха,
в ней рождается голое слово…
За хорошую строчку живого стиха
умираю я снова и снова…

УЛИЦА ВОЛКОВА

Волчьей улицы дом, словно клык,
расшатался и стал кровоточить,
и к нему два таких же впритык
разболелись сегодняшней ночью.

Расскрипелись, как будто под снос,
и распухли щеками заборов,
и теперь только содою звёзд
полоскать их до утренних сборов.

Око волка — багровый фонарь,
хвост его выметает прохожих,
а Вторая Гора, как и встарь,
окончательно их обезножит.

Крыш прогнивших топорщится шерсть,
крылышкуя смеётся кузнечик,
он на Волкова, дом 46
нашептал Велимиру словечек.

Бобэоби — другие стихи –
в горле улицы, в самом начале,
зазвучали, больнично тихи,
но на них санитары начхали.

Здесь трудов воробьиных не счесть:
по палатам душевноздоровых
птичью лирику щебетом несть,
пусть и небо на крепких засовах.

А над небом царит высота,
а с высот упадает в окошко
пустота, простота, красота,
трав и вер заповедная мошка.

ОКНО

Окно — милосердное эхо
погасших квадратных небес,
для беглой свободы прореха
во мрачной квартире словес,

колючая прорубь в иное,
что острою рябью стекла
моё любопытство льняное
вспороть до затылка могла.

Окно — путеводная нитка,
ведущая в пропасть ушка, —
как первая к смерти попытка
последнего в жизни прыжка,

и млечная оторопь света,
и ночь задушевной брехни,
в губительный мир без ответа
раскрытые настежь стихи.

РАИФСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

У Сумского озера взгляды
о солнечный купол сминай,
пока с Филаретом ты рядом,
и дышит казанский Синай.

Истории путь одинаков:
честнейшие сердцем дружки
и здесь избивали монахов
и храмы восторженно жгли.

Но колокол, вырванный с мясом,
что в землю ушёл на аршин,
проросшим звучанием связан
с мерцанием новой души.

Так выгляни, скит стародавний,
запаянный метким свинцом,
меняя тюремные ставни
на свет под сосновым венцом.

МИРУ — МИР*

Миру — мир тебе, брат! —
безмятежный скиталец весны:
прорастают вьетнамские лапти
в бананы-штаны,
на измятой тельняшке горит
пионерский значок,—
до ушей улыбается Лёша —
смешной дурачок.

Выходя из буфета на млечный
казанский простор,
он мычащие губы от крови томатной отёр
и, присев на скамью,
у обкомовских ёлок в тиши
воробьиной семье
бесконечную булку крошит.

Мимо оперных стен
и ожившего вдруг Ильича
я на велике мчу,
дяде Лёше дразнилку крича,
а в кармане звенят 38 копеек надежд
на берёзовый сок,
два коржа и вкуснющий элеш.

У продрогших витрин
торможу через сколько-то лет –
за стеклом банкомат
и сбербанка дамоклов буклет...
Будто в детстве моём,
где богатством считался пломбир,
мне из окон глядит
повзрослевший теперь Миру-мир.

СТАРАЯ КАЗАНЬ

По ветхим улочкам Казани,
смиренно дышащим на ладан,
иду с умершими друзьями –
а что ещё от жизни надо?

И будто горние берёзы
мне путь неспешный проясняют,
они, от старости белёсы,
всё понимают и... сияют.

А день окуривает дымкой
избушки курьи нежилые,
над тучей солнце невидимкой
им греет кости пожилые.

Шагаю мимо палисадов
по деревянному кочевью –
не заскрипят уже надсадно
полуистлевшие качели.

Не защебечут больше ставни,
приветствуя моё наличье,
и лишь в любезностях усталых
резной рассыпется наличник.

А за оврагом город громкий
несёт дожди и льёт за кромку,
а здесь — погибла на пригорке
от жажды ржавая колонка.

Родных калиток вереница,
я перед вами с болью замер –
вы перекошенные лица
моей несбывшейся Казани.

ПОДЪЕЗД

Бог не фраер, не лох,
но весьма любознательный шкет:
он давно наблюдал втихаря,
притворившись умершим,
как в прокисшем чаду,
в этом грязном кирпичном мешке
нас, нахальных цыплят,
становилось по осени меньше.

Кто ушёл на войну —
умирать под чеченским селом,
кто допрыгнул до звёзд,
разбежавшись по пьяни с балкона,
кто-то веру обрёл,
получив кирпичом за углом,
и в психушке теперь
добивает земные поклоны.

---

* «Миру — мир» — продуктовый магазин на Площади Свободы в Казани, названный так по известному лозунгу, прикреплённому на фасаде здания.

Нас подъезд воспитал
и вскормил из бычковых сосцов
сладкой водкой свободы
безумно дешёвого понта,
пацаны-старшаки нас пороли
ремнём за отцов —
их отцов, не вернувшихся с фронта.

И я с лекций летел
на безжалостный окрик свечи
в полутёмном пространстве
Вселенной друзей-одногодок:
там обоймой кассет Доктор Албан
нас насмерть лечил,
и калечил язык
беглый говор обкуренных сходок…

Что-то вспомнилось ныне,
как плавились дух и сердца…
Нас осталось немного —
шепчу я светло и печально…
Свой рубец оставляет подъезд
у любого жильца,
если ты не мертвец изначально…

ГАВРИИЛ КАМЕНЕВ*

Всё от Бога: и слово мрачное,
и лученье смешливых губ,
капиталы, дома барачные
и дворянства былой суккуб.
Упокой перейдёт во здравицу
на гортанном наречье мурз —
и не то, что купец объявится,
но потомок татарских муз.

То ли азбуки, то ли ижицы —
коли чёрный огонь внутри,
не читай, что на нёбо нижется,
о бумагу перо не три…
В задыхании — после бега ли
за сосновые образа —
так уколет твоя элегия,
словно хвоей метнёт в глаза.

На погосте, теперь разрушенном,
за кизической слободой,
прах твой станет могиле ужином,
память вытравит лебедой.
Но однажды всплакнёт балладою,
зовом зыбким Зилантов вал —
о Зломаре впотьмах балакая,
пригрозит, прогремит Громвал.

Это мистика, это готика —
два столетия псу под хвост…
И классическая просодика
на анапест наводит лоск.
Только нет у героя книжицы —
наизусть ты его блажи,
где в бетон закатали Хижицы**,
чтобы каменев пал с души…

ОГОРОД

Жили-были холодно да голодно,—
только не хватались за ножи.
С вороньём за вечерами лобными
пугало справлялось у межи.

Пили водку с горьким молочаем,
хоронили яблока микроб.
Кулаками в зубы получали,
кто чужой подёргивал укроп.

Примирялись: просто и за сало,
ленточку победы теребя.
А теперь вот Родина зассала
выручать советского тебя.

Видишь, как при всём честном народе
за ботвой картофельных наград
на соседском тощем огороде
гибнет в керосине колорад.

Всё теперь давно уже не слишком,
телек кровожадненько басит:
«Помнишь, как сжигали наших мишек?!
Мишка, ты теперь не одессит!..»

---

* Гавриил Каменев (1773–1803) — первый русский романтик; автор первой русской баллады — героической поэмы «Громвал»; талантливый казанский поэт и переводчик, творчество которого высоко оценил А. С. Пушкин.

** Хижицы — старинное название Кизической слободы под Казанью; последнее стихотворение Каменева, найденное уже после его смерти в кармане сюртука.

Вот и ватник сдан под одеяло –
лоскуты ползущие на нём.
Нас имперским смыслом наделяло,
что по одному не проживём.

По уму ли, по сердцу, бессрочно
городили общий огород,
кости перемешивали с почвой
и плодами раскровили рот…

* * *

Только ночь в три ручья,
только чай на весенней воде
кипятить без конца,
подмешав новогоднюю слякоть…
Бить капелью по сну, быть тебе,
быть великой беде –
если боги играют в людей
и стараются плакать.

Только здесь, в декабре,
на кроваво подтаявшем льду
человек исчезает во тьме
временного завала…
Вот была бы такая зима в 41-м аду –
и меня б не бывало…

В КАШЕМИРОВОМ НЕБЕ НА ВЫРОСТ…

В кашемировом небе на вырост
облака на резинке ношу,
и весны неслучайную сырость
по щекам иногда развожу.

Чтобы в детстве, костром обожжённом,
вдруг, запахнув ночною росой,
проглянуло бы под капюшоном
удивленье озона грозой.

И на Млечном Пути без ошибки
мама с папой увидеть смогли
голубые, как вечность, прожилки
зарифмованной сыном Земли.

КАЗАНЬ, ЛЯДСКОЙ САД

Мы выжили, спелись, срослись в естество
чернеющей в садике старой рябины,
глухой, искорёженный донельзя ствол
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам,

плывущим к Державину, выполнить чтоб
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок:
блестят провода, и качается столб,
троллейбус искрит, перепутанный ими,

а ливень полощет у сосен бока
и треплет берёзы за ветхие косы,
газон, осушив над собой облака,
под коврик бухарский осокою косит,

и голос фонтана от капель дождя
включён, вовлечён в наше счастье людское…
и мальчик соседский, в столетья уйдя,
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого.

* * *

Галине Булатовой

Птичий контур, чертёж без деталей,
в небо шаг, или взмах, или два,
от осенне-осиновых далей,
пункт за пунктом, пунктиром, едва,

прочертив облака, предначертав
оставаться на окнах ночей
и пером по бумаге зачем-то
лунной горлицей стынуть ничьей,

занемочь, где в сиреневой тряске
клювы клином вбиваются в юг,
и синицы, сипя на татарском,
минаретные гнёздышки вьют,

задышать глубоко в понедельник,
отыскав голубиную клеть,
и застуженный крестик нательный
на груди у меня отогреть.